



ПОРТРЕТ ПОЭТА

Лев АННИНСКИЙ

БРОДСКИЙ

Великий поэт выброшен из России, можно считать, на вершине мирового признания. В изгнании он получает Нобелевскую премию. Еще целое десятилетие живет в эмиграции. Оформляет британское гражданство. Упокоиться мечтает в любимой итальянской Венеции. Там и похоронен.

Кажется, что судьба выбрасывает его с родины, издеваясь, и он до конца дней проклинает ее.

Но если вдуматься, родина, имея Бродского своим гражданином (32 года жизни), только и делает, что выбрасывает его из любого места, где он притерпелся жить. И он, кажется, сам провоцирует это. Школу заканчивать не хочет — рвется в вольное плавание. То есть в мореходное училище. Не принят. И в школу подводников — не принят. Принят истопником в котельную.

Поплавав, возвращается в родной Питер и наконец решает стать тем, кем рожден: стихотворцем. Первое публичное выступление — на турнире поэтов. Скандал. Для тогдашней советской общественности «Еврейское кладбище» непереносимо. Приговор: Бродский — «окололитературный трутень». Анна Ахматова принимает вызов, включив «нашего рыжего» в кружок своих «сирот».

Это не спасает. Общественность устраивает показательный суд и ссылает непослушного на исправление в деревню. Фрида Вигдорова процесс «стенографирует» (втихую), потом запись передает в огласку (в громкую). Публикация делает Бродского героем-мучеником интеллигентской элиты. Месяцы, проведенные в деревне, он объявляет счастливейшими в своей жизни (назло гонителям).

Из ссылки возвращается — триумфально. Но места своего так и не находит. Ни с властью ужиться не может, ни с тогдашними виднейшими поэтами не хочет делить славу.

Четверть века, отмеренные судьбой, пребывает на вершине мирового признания и время от времени поминает Россию.

Иногда проклиная. А иногда так:

Лев Александрович Аннинский родился в 1934 году. Критик и публицист, автор многих книг и статей о литературе, театре, кино. Лауреат премии журнала «Нева» (2013).

«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать: на Васильевский остров я приду умирать...»

Васильевский остров так и не дождался своего сына (хотя звал его усердно). Так что вопрос о вкладе нобелевца в родную русскую словесность остается темой бесконечных раздумий: Бродский ощущал себя (и был) поэтом мирового духовного опыта, в контексте которого добрая дюжина национальных культур отразилась — и пристально, и мимоходом...

Россия отразилась — болью. Неуходящей обидой. Неодолимой привязанностью к этой горькой теме — к непоправимой судьбе.

Без этого вклада уже нет полной истории русской поэзии ушедшего двадцатого века.

ПЕРЕЧИТЫВАЕМ

Действующие лица

В поэтическом Театре Иосифа Бродского действуют: евреи, грузины, поляки, немцы, эстонцы, литовцы, китайцы, румыны, таджики... А по преодолении «железного занавеса»: американцы, англичане, итальянцы, испанцы, мексиканцы, голландцы, шведы, арабы... А по ходу экскурсий в «бездны истории»: римляне, гунны, татаро-монголы, парфяне, персы, византийцы, египтяне, славяне...

Славян, как и чужь белоглазую, оставим «русскому вопросу» (*«равнодушной отчизне»*). Однако диапазон контактов поразителен. Дети разных народов, скользя все время по заднику картины, свидетельствуют о какой-то неутоленной, но жгучей потребности лирического героя. Иногда эти связящие тени сотканы из элементарностей, за которыми не надо даже лезть в энциклопедии. Финляндия — это сосны. Голландия — это цветы. Грузия — это чай. Это — где поют «Тбилисо» и «Сулико». *Гимн баналу* — как сказал бы сам Бродский.

Иногда фигуры многонационального шествия обрисованы с беглостью едва ли не обидной. Если, конечно, вдумываться. Но в том-то и дело, что статисты поэтического действия очерчены тут без вдумывания, автор думает совсем о другом; а они — только часть «пейзажа». *«Вдали маячит сумрачный грузин»*. Фигура — из «кавказского анекдота». Или — такая шеренга: *«Студентики, фарцмены, тихари, грузины, блядуны, инженера...»* Или математическая выкладка: *«Увы, не хватит в Грузии грузинов (так! — Л. А.), чтоб выложить прямую между нами...»*

Грузины не должны слишком обижаться: они не одиноки. Китайцы восприняты в том же биоэкономическом ключе: *«Китаец так походит на китайца, как заяц на другого зайца...»* Даже возлюбленные греки, некогда подарившие бессмертного Одиссея памяти человечества, охлестнуты тою же переписной веревкой: *«Столько мертвецов вне дома бросить могут только греки...»* Греки же, брошенные вне дома, введены в стих такую фигурой: *«Теперь так мало греков в Ленинграде, что мы сломали Греческую церковь...»*

Сардонический ритм, сквозящий в подобных оборотах, не дает нам возможности просквозить мимо, подобно тени паломника, ибо тут перед нами уже не фигуры фона, тут глубинный Бродский, полный яда и отчаяния, горечи и безнадеги, неуязвимости и уязвленности. Конечно, многонациональный хоровод теней и ряженных в его поэзии иногда кажется кошунственным; конечно, переделка лермонтовской «долины Дагестана» в «долину Чумекистана» бестактна; конечно, многое надо понять и простить поэту чисто человечески, ибо это — человеческое... слишком человеческое... Но когда у поэта из-под человеческого орет сверхчеловеческое — надо вслушаться.

Скольжение фигур фона — не более чем антураж трагического действия. Само действие, вернее, взаимодействие героя с национальными фигурами в болевых точках его судьбы — это действительно обрывы в бездну.

Первая такая точка — еврейская. Эта тема подложена Бродскому самой судьбой: проклятием и таинством происхождения, — она возникает с первых стихов: «Еврейское кладбище около Ленинграда» написано в тот же ранний год, что и «Пилигримы».

На кладбище: юристы, торговцы, музыканты, революционеры... Идеалисты-талмудисты... Не сеявшие никогда хлеба, легшие сами в землю подобно зернам... Сумма мифологем, спрессованная в этом стихотворении, кажется сегодня слишком элементарной, но не забудем, что это пишется в 1958 году, когда само слово «еврей» — под полузапретом, и пишется восемнадцатилетним мальчиком, едва ощутившим вес пера.

Тринадцать лет спустя «гены» еще раз откликаются — в «Литовском дивертисменте» — в зарисовке еврея, где потрясающая точность исторических деталей приоткрывает сквозящую бездну. Сохнувшая перина... икотка страха от наведенного лорнета... тележка с рухлядью... пейсы, переделанные в бачки... Новый Свет... Атлантика, заблеванная эмигрантами. Наверное, литовские корни матери, раскопанные Бродским в его родословной, навеяли эту еврейскую мелодию в «Литовском дивертисменте», так или иначе в поэзии, посвященной собственно еврейству, зарисовка Бродского — бессмертна.

И уже в самом финале пути, в 90-е годы — в «Послесловии к басне» — щемящий диалог любимой птицы — с кем? Надо думать, с Богом:

— Еврейская птица ворона,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?..

— Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой.

Игра смыслов, лучащаяся в стихе, не исчерпывает его бездонности, но, конечно, сообщает Бродскому неотторжимый статус еврейского поэта.

Так и казалось — особенно при его отторжении от России в 1972 году, — что зияние, оставшееся на месте вырванных русских корней, заполнится еврейской болью. Еврейской живучестью. Еврейской беспочвенностью. Еврейской почвой.

Но все оказалось иначе. Ни поэтом диаспоры не стал Бродский, ни поэтом каменной пустыни Бытия, хотя горечь изгнания из Союза смешалась с горечью изгнания прадедов из старой России, и каменная жестковость пророков ощутилась в демонстративном спокойствии, с каким Бродский перенес потерю отчизны.

В «ионосфере» он дома, но Америка — не дом. Живой обыкновенной Америки нет, а есть нечто идеально-недостижимое, абстрактно-великое и абсурдно-всемирное. Америка — вывернутая Россия?! Боже мой, Боже мой, кажется, так...

Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой,
другой, не менее великой,
приемыш гордый...

Вот и уравнились.

Чем безадежней, тем понятней

Эмиграция обрывает муки реальных встреч. Но страшной муки отраженные. Не уходит из памяти деревня, затерянная в болотах. Что там теперь? Те же гати, те же буераки? Баба Настя, поди, померла, а Пестерев, если жив, ладит калитку из спинки кровати. Той самой... *«И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли да пустое место, где мы любили...»*

Можно ли назвать другого великого поэта, любовь которого была бы обречена на такую изначальную несбыточность? И боль, и горе, и отчаяние — не от неразделенности чувств (чувства-то как раз разделены), а от какой-то космической околдованности души, которая стремится именно и только к несбыточному. К идеалу. Такой влюбленный, в сущности, убивает спутницу тем, что ищет в ней — Богоматерь. И знает, что не найдет. И потому на rendez-vous приходит как на место казни.

Любая лирическая встреча высвечивает душевную обреченность.

Шум ливня воскрешает по углам
салют мимозы, гаснущей в пыли.
И вечер делит сутки пополам,
как ножницы восьмерку на нули....

Это почти каббалистическая символика: бесконечность, рассеченная надвое, дает нули. Мир пуст, пылен — до него не доходит тот запредельный свет, который мог бы возвестить ему смысл. Жизнь проклята, потому что в ней не слышно Бога, то есть нет цели, нет оправдания. Значит, все — мираж. В том числе и «она»:

Ее ладонь разглаживает шаль.
Волос ее коснуться или плеч —
и зазвучит окрепшая печаль;
другого ничего мне не извлечь...

Реальность — это то, что надо извлечь из псевдореальности. Из чугунного Города, из полусгнившей Деревни, из стальной Державы, из «рабской» речи. Идя к Богу, пилигрим проходит этот мир насквозь. И когда он наталкивается на живое непредсказуемое существо, к которому, как на грех, еще и начинает испытывать страсть, тогда надо рассекать надвое душу. И свою, и ее...

Мы здесь одни. И, кроме наших глаз,
прикованных друг к другу в полутьме,
ничто уже не связывает нас
в зарешеченной наискось тюрьме.

Выйдя наконец из этой российской ночи в другую, американскую ночь, он задумается: что же произошло?

И еще раз подумает: вникать бессмысленно. Чем безнадежней, тем понятней. Дорогая, мы квиты. Хорошо, что мы врозь. Мир — разведенная смесь кириллицы и диких чувств динозавра. Под всем этим — пустота. Любовь не спасает, как не спасает прививка от оспы среди общей чумы. Не спрашивай, куда все летит, — ответа не будет.

К равнодушной отчизне

В известном смысле это нормально: великий поэт всегда как бы сын Вселенной. Но у Питера есть в споре свой аргумент: написанные молодым Бродским строчки, без которых не обходится ни одна о нем статья:

Ни страны, ни погоста
Не хочу выбирать.
На Васильевский остров
Я приду умирать...

Дальше там, однако, еще две строки, которые обычно опускаются:

...К равнодушной отчизне
Прижимаясь щекой.

Нельзя сказать, что отчизна была так уж равнодушна: устроила суд над тунецем, сослала в деревенскую глушь на пять лет, из коих полтора года заставила-таки отсидеть. С чего и началась всероссийская, а потом всемирная слава Бродского. Отчизна в дальнейшем опомнилась и так грубо не притесняла (если, конечно, не считать того, что не издавала). Но — не сажала, не ссылала, а — мирно отпустила за рубеж, когда у слушника достало сил и средств отъехать.

Он отъехал и, вступив в Новый Свет, с облегчением обронил свое русифицированное имя: *«Джозеф! Чтобы не было никакой „моветочки“: ах, где моя Родина, ах, я осиротел. Веди себя так, будто ничего не произошло»*.

Так и вел. Не проклинал особенно громко ни России, ни тех, кто в ней его обидел; ни их, ни ее «не замечал».

Разочек представил Россию в виде дурацкого балагана, но эти стихи — особняком; названы — «Представление», кажутся «сценарием», построены на «чьих-то» репликах, вроде: *«Дайте мне перекреститься, а не то в лицо ударю»*, или: *«Скажешь „пли!“ — ответят „бля!“»* — в коих предсказаны постмодернисты вроде лирических героев Рубинштейна и Вишневского и «мусульмане» вроде кинематографического героя Хотиненко.

Как-то раз написал «Сталина» и «Хрущева» с маленькой буквы... однако «Брежнев» написал с большой в прощальном письме, на которое так и не получил ответа: наверху сочли, что «ничего не произошло».

В пятую годовщину отъезда еще раз обернулся:

Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит, и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
Других примет там нет — загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет — цвет времени и бревен.

Строго говоря, это не ненависть. Это — старательное безразличие, то есть перегоревшая страсть, которой лучше не давать разгораться.

Один раз только и прорвалась ярость — в момент отъезда:

Собака лает, ветер носит,
 Борис у Глеба в морду просит...
 Пускай Художник, паразит,
 другой пейзаж изобразит.

Другой пейзаж Художник изобразил за десять лет до отъезда. До ссылки, до ареста и суда:

Не следует настаивать на жизни
 страдальческой из горького упрямства.
 Чужбина так же родственна отчизне,
 как тупику соседствует пространство.

Прежде чем раствориться во «времени» и «пространстве» подобно всем прочим вещам, предметам, реалиям, биосуществам и идеологемам, родина оставляет в поэзии Бродского некоторый след, образ, вопрос... вернее, намек на вопрос — отсутствие вопроса по причине невозможности ответа. Никто ничего не просит, ни «в морду», ни «в лицо». Никто никому не обязан. Родина не слышит, не знает, не реагирует, и ты в ней никак ни с кем не связан, не нужен, — ты одинок, тебя никто не ждет, не встречает, не провожает, на тебя никто не рассчитывает.

Иногда это жаль, и тогда прорывается что-то вроде робкой надежды: «что ей стоит побережь нас немного...» Иногда возникает что-то вроде превентивной обиды: «Слава Богу, что я на земле без отчизны остался». Между этими чувствами — взгляд МИМО, и то загадочное состояние, которое выражено в строке: «*ни родины, ни дома, ни изгнанья*». В этой строке куда больше смысла, чем в залихватской эпиграмме: «*русский орел, потеряв корону, напоминает сейчас ворону*». Двусмысленность последнего высказывания состоит в том, что ворона — любимая птица Бродского, и еще в том, что интонационно он попадает здесь в след Вознесенского, самого нелюбимого из своих собратьев.

Как и в строках о «жулье... вождей» — такой диссидентский ширпотреб несомненно свидетельствует об отваге молодого автора, но для этого не надо быть Бродским. А вот для строки: «*Дай мне на землю пасть в милой моей отчизне*» — надо. Для фантастического неразличения бытия — небытия в строке: «приехать на Родину для смерти» — надо. Для мучительного: «Нельзя вернуться» — надо обладать именно его характером, более того, принять судьбу, которую он предсказал себе сам в ранних стихах:

И нет на родину возврата,
 одни страдания верны,
 за петербургские ограды
 обиды как-нибудь верни.

Ты все раздашь на зимних скамьях
 по незнакомым городам
 и скормишь собранные камни
 летейским жадным воробьям.

В «город, знакомый до слез», он так и не вернулся. Не посетил даже в постсоветские годы, когда звали усиленно, почти униженно. Доезжал до финских хладных скал, смотрел через залив, но «на Васильевский остров» так и не пришел. Гово-

рил: сердце не выдержит. Чтобы не расшифровывать, сослался на того же Гераклита: нельзя вступить дважды и т. д. Расшифровка, однако, просвечивала: пусть не думают, что простил.

«Наказал» Россию — пренебрежением. Даже русскую речь наказал — «рабскую»! — тем, что воспоминания о родителях написал по-английски.

В стихах русским языком пренебречь так и не смог — писал стихи по-русски до последнего дня.

Вот наконец портрет Державы: картина нежной шаткости, подпертой железом:

Этот край недвижим. Представляя объем валовой
чугуна и свинца, обалделой тряхнешь головой,
вспомнишь прежнюю власть на штыках
и казачьих нагайках.
Но садятся орлы, как магнит, на железную смесь.
Даже стулья плетеные держатся здесь
на болтах и на гайках.

Варварский способ укрепить жизнь, распадающуюся от внутреннего варварства. Град, зацепившийся за берег Океана. Портрет России, написанный остывшей желчью — эликсиром спасения от перегоревшей любви.

Эта горькая связь теперь нерушима. Во-первых, перед нами все-таки портрет России. Во-вторых, перед нами поэзия, созданная на русском языке, — и именно среди русских ей обеспечено адекватное чтение. В-третьих, это все-таки диалог России с Вечностью, как бы горек он ни был.

Пилигриму же, представшему перед Всевышним «в области адской» (я думаю, все-таки — райской), можно на прощание вернуть реплику: Джозеф! Обойдемся без мелодрамы: ах, мы осиротели! Покинуть сей бранный мир — не жалко. «Мир — весьма дикое место и не заслуживает лучшего отношения». Будем же вести себя, как будто ничего не произошло.

Последний взгляд на Россию, в декабре 1994-го, за год до смерти:

На севере если и верят в Бога,
то как в коменданта того острога,
где всем нам вроде бока намяло,
но только и слышно, что дали мало.

Кому мало дано, с того мало спрошено.

Тут — много. И дано, и спрошено, и отвечено.